



БАБУШКА, GRAND-MÈRE, GRANDMOTHER...



Воспоминания внуков и внучек
о бабушках, знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями
XIX-XX веков

УДК 94(47)''18/19''(0841)

ББК 63.3(2)5я6

Б12

*Выражаем благодарность Марии Викторовне Красновой
за поддержку в издании книги*

Дизайн — Александр Архутик

Бабушка, Grand-mère, Grandmother...: Воспоминания внуков и внучек Б12 о бабушках, знаменитых и не очень, с винтажными фотографиями XIX—XX веков / Составитель Е. В. Лаврентьева. — М.: Этерна, 2011. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-480-00132-7

Героини книги — бабушки, наши ангелы-хранители. Судьба каждой из них неповторима, а истории любви достойны пера романиста. Наряду со свидетельствами мемуаристов XIX века в книге представлены воспоминания наших современников. Авторы объединяет «память сердца» и благодарность к тем, кто сумел передать внукам творческое отношение к жизни, сострадание к людям, любовь к искусству и природе.

УДК 94(47)''18/19''(0841)

ББК 63.3(2)5я6

ISBN 978-5-480-00132-7

© Е. В. Лаврентьева, составление,
предисловие, 2011

© ООО «Издательство «Этерна»,
оформление, 2011

Предисловие

Я благодарна друзьям за то, что они откликнулись на мой «призыв» написать воспоминания о своих бабушках. Эта тема не оставила равнодушными, в свою очередь, их друзей и родных. Так появилась эта книга. А началось все с открытки, найденной на развалах блошиного рынка в Измайлове: «Москва. Разгуляй. Аптекарский пер., Дом Михайловой, кв. 2. Ея Высочордию Александре Александровне Михалевской».

Дорогая Бабушка! Скоро опять, бабушка, мы с тобой увидимся. Вот ты не поверишь, а спроси Маму, все мы по тебе сильно скучаем. Очень рад, что ты сшила себе бархатное платье; теперь очередь за шелковым. Таким образом, когда мы с тобой будем сидеть в первом ряду партера, на нас обратит внимание весь театр...»

В то время я собирала старые фотографии с трогательными надписями на обороте и почтовые открытки (конца XIX — начала XX века) с примечательными текстами. Переписка бабушек и внуков занимает почетное место в моей коллекции.

«Дорогой мой гимназистик Петушок, поздравляю тебя с праздником! Хотя ты и гимназист, но, наверное, с таким же

нетерпением, как и прежде, ждешь праздников и интересуешься, что тебе подарят. Впрочем, для тебя, сильно занятого человека, праздник — особенно приятное событие. Гуляй вовсю и поменьше сиди за книгами, чтобы отдохнуть. Крепко-крепко целую, твоя бабушка».

Родители «гимназистика» вряд ли одобрили совет бабушки, но Петушок, несомненно, был ей признателен за понимание и дружескую поддержку. А вот еще одно письмо:

«Воронеж. Малая Дворянская, д. 18. Евгении Георгиевне Риттер. Москва. 10.10.1916.

Милая Женечка! Целую и поздравляю с днем рождения. Ты теперь совсем взрослая барышня, в мое время в 16 лет надевали первое длинное платье, и с непривычки приходилось в нем путаться. Теперешняя мода, если ее не преувеличивать, гораздо удобнее. Желаю тебе всего, всего хорошего, будь здорова и не забывай любящую тебя бабушку Риттер».

Барышне явно повезло с бабушкой: не ругает «нынешнюю молодежь», не осуждает «теперешнюю моду». Одним словом, «современная» бабушка!

Вслед за собиранием писем и фотографий появилось новое увлечение —

Предисловие

«Бабушки на страницах мемуаров XIX века». Моя многолетняя работа с мемуарными источниками помогла составить яркий «букет»: тут и придворные дамы, и хлебосольные хозяйки, и «суеверки», и сумасбродки, и светские львицы, и «пожирательницы мужских сердец», и художницы, и музыкантши, и чудесные рассказчицы... Так или иначе воспоминания о бабушке у каждого мемуариста были связаны с «самыми дорогими впечатлениями детства».

На долю бабушек моих друзей выпали тяжелые испытания. Но, несмотря ни на что, они смогли передать своим внукам любовь к природе, музыке, литературе, творческое отношение к жизни, сострадание к людям, ощущение неповторимости мгновения... Гениальный Параджанов в миниатюре, посвященной Федерико Феллини, писал: «Думаю, что Феллини целиком и полностью вышел из детства... Как ни абсурдно, режиссер рождается в детстве. Я знаю, что детство — это бесценный склад сокровищ...»

Сокровищами своего детства делятся с читателями авторы этой книги. Среди них: художники, деятели науки, литераторы, музыканты, профессор медицины, доктор геологических наук. Некоторые успешно совмещают несколько профессий: физик и коллекционер, пианистка и архивист, художник и литератор. Но все они — благодарные внуки, которые бережно хранят семейные реликвии. Пожелтевшие листки писем, дневники с потускневшими от времени чернилами,

фотографии в старых громоздких альбомах, со страниц которых смотрят на нас робкие гимназистки в белых фартуках, тоненькие барышни в длинных платьях, эффектные дамы в причудливых шляпах... Одни станут женами знаменитых мужей, другие сами обретут известность, третьи будут жить семейными заботами вдали от столичной суеты. Судьба каждой героини — неповторима, а истории их любви достойны пера романиста*. Наши бабушки — наши ангелы-хранители!

Красавица Осень совета не спросит,
Разлюбит кого — обязательно бросит.
И будут дождинки блестять на ресницах,
И таять улыбки на пасмурных лицах.

Заглянет Зима и надолго останется.
И снежною дымкою небо затянется,
И будет царить снеговая порука,
И снежная баба отряхивать внука.

Ворвется Весна черноглазой цыганкой,
С кострами и песнями, пляской и пьянкой.
И будет кружиться у всех голова,
И шелковой шалью стелиться трава.

В соломенном кресле раскинется Лето,
Рукой заслонившись от яркого света.
И будет жужжать над вареньем оса,
И падать слезой на ладошку роса.

Потом снова Осень, и снова Зима,
И те же деревья, и те же дома.
И бабушкин зонтик от солнца на даче,
И в детство тропинка... А как же иначе?!

Елена Лаврентьева

* В публикуемых материалах в основном сохранены орфография и синтаксические особенности источников.

Часть I

**ЧЕМ
ИЗМЕРЯЕТСЯ
ЛЮБОВЬ?**



О. Ю. Семенова

Таточка

Вы — великая женщина. Сделанное Вами — неоценимо. Сейчас люди обречены на загадочное одиночество, создать и сохранять семью куда труднее. Вы это сумели. И о возрасте своем забудьте! У вас на лице — годы красивой и деятельной жизни.

Из письма Риммы Казаковой к Н. Кончаловской. 1968

Когда я вспоминаю Таточку (так называли Наталью Петровну Кончаловскую все мы, многочисленные ее внуки, ибо тривиальное «бабушка» было неприемлемо), то всегда сначала вижу ее руки — небольшие, удивительно красивые, «умные руки», как она сама говорила. А потом возникает милое, в морщинках лицо, с раннего утра изящно уложенные голубоватой волной седые волосы и чуть прищуренные, все видящие и все понимающие глаза.

Это была удивительная, неповторимая женщина. Я говорю это не потому, что она была моей бабушкой. Есть женщины творческие, есть примерные матери, есть мудрые жены, есть хорошие хозяйки, но чтобы все это совмещалось в одной женщине, такого я не видела ни до Таточки, ни после нее.

Таточка вставала часов в шесть-семь утра. День начинался с молитвы. В углу ее спальни на даче на Николиной Горе, купленной еще в 1949 году, всю ночь теплилась лампадка. Когда мой папа бывал в командировках, я проводила субботу и воскресенье не на нашей даче на Пахре, а у Таточки. Спала в ее комнате на раскладушке, возле русской

© О. Ю. Семенова, 2008

печки, расписанной молодой художницей смешными жанровыми сценками. По утрам просыпалась от еле слышного Татиного шепота: она стояла на коленях перед киотом и тихо молилась. Я переворачивалась на другой бок и, свернувшись калачиком, снова засыпала. Поставив в духовку хлеб, который она с вечера замесила, и позавтракав (завтрак состоял из половинки грейпфрута, чашки кофе и двух кусочков подсушенного хлеба с тончайшими, просвечивающими на солнце ломтиками сыра), Таточка садилась писать. К девяти часам, решив, что хватит мне валяться, она срывала покрывала с клеток с радостно попискивающими канарейками, раздвигала плотные полосатые шторы, ставила пластинку с концертом Рахманинова, и весь небольшой уютный ее дом наполнялся пением птиц и музыкой.

До полудня Таточка продолжала писать за столиком из карельской березы с двумя черными лирами по бокам, потом ставила на плиту гречку, готовила на французский манер салат: это было священнодействием, которому она учила, по мере взросления, всех внуков. Салат срывался с грядки, мылся, сушился в за-

морской сушилке, вращавшейся со страшным грохотом и рычанием, потом резался вместе с помидорами, поливался оливковым маслом и посыпался сверху сухариками, натертыми чесноком. После обеда шла очередное платье Аннушке или мне. Потом выхаживала обязательные два километра по дорожкам сада. Затем вязала носки Егору, или шарф Степану, или джемпер маленькому Темочке. Вечером, если был сезон, мастерски варила варенье, читала. А на ночь рассказывала мне про гимназию, путешествия в Италию, про деда Василия Ивановича Сурикова — много было сокровищ в ее кладовой памяти...

Таточка вошла в мою жизнь рано. Я этого не помню, да и помнить не могу: мне было полтора года, но мама с удовольствием об этом вспоминает. Стояло теплое лето 1968-го. Таточка, как всегда элегантная и подтянутая, в одном из безукоризненно сшитых в ателье Литфонда строгих костюмов, которые она неизменно «оживляла» украшениями, купленными по случаю или изготовленными по ее рисункам на заказ у знакомого московского ювелира, выехала из дома пораньше. Степенный дородный водитель, немец Николай Осипович Штеллинг, не спеша, подрулил на «волге» двадцатой модели к церкви в Перхушково. Таточка, несмотря на свои шестьдесят пять лет, легко вылезла из машины, накинула на голову кружевной платочек и бодро направилась к храму — крестить меня, свою вторую внучку.

Крестины незаладились. Я омерзительно громко кричала и извивалась, неохотно расставаясь с уже завладевшими, по

твердому убеждению бабушки, моей душой бесами. Крестный отец, младший брат Натальи Петровны, Михаил Петрович Кончаловский от этих пронзительных воплей и волнения забыл молитву, которую должен был произнести. Пожилой священник Радковский (то ли близкий друг, то ли дальний родственник Татиного мужа, Сергея Владимировича Михалкова) совсем некстати на него рассердился, недовольно бурча: «Что же вы за христианин, любезный, если молитвы забываете?!» Мама испуганно смотрела на это несколько карикатурное священнодействие из дальнего угла храма, в волнении прижимая длинные пальцы к щекам. И только Наталья Петровна оставалась доброжелательно-спокойной. Состояние покоя, вежливой заинтересованности и тихой доброжелательности, коротко и очень точно называемое французами «*ame egale*» и характеризующее, по их мнению, истинных дам, было выработано ею еще в молодости...

Не могу объяснить почему, но лет до шести я Таточку панически боялась и даже обращалась на «вы», что не мешало мне (да здравствует иррациональность младенческого мышления, допускающего гармоничное соседство страха и любви к старшему!) ее тихо обожать. Тогда еще она проводила всю зиму в своей московской квартире на улице Воровского, и мама, заходя ее навестить, брала меня с собой. Там пахло черным кофе, апельсинами, горькими французскими духами и, чуть-чуть, лавровым листом с кухни, где бессменная домработница Поля готовила что-то вкусное. В просторном холле над роялем висела картина Петра Петровича Кончаловского «Сирень». В столовой —

полотно В. И. Сурикова — портрет красавицы: пышная, румяная, с гривой роскошных темных волос, она неизменно печально смотрела на входящих. Всем появившимся в доме внукам родители таинственно тихо, будто семейную тайну, рассказывали, что портрет красавицы был написан Суриковым ровно за год до ее неожиданной смерти от чахотки. Теперь картина находится в Русском музее в Петербурге, и (вот ведь введливые детские стереотипы!), торжественно подводя к ней недавно моих детей, я поймала себя на том, что рассказываю старую историю с тем же загадочным видом, что и моя мама тридцать с лишним лет назад, на улице Воровского.

Таточка обычно сидела в холле за овальным столиком красного дерева и что-то вязала. Волосы ее, тогда еще каштановые, были красиво уложены в пучок, домашнее, но очень элегантное темно-синее платье в белый горошек свободно облегалo фигуру, на пальце тускло поблескивало старинное кольцо с огромной жемчужиной. (Позднее эта жемчужина за один день почернела, и моя мама, суеверно боявшаяся приворотов, наговоров, сглазов и прочей колдовской дребедени, убежденно заявила, что камень принял на себя особо сильный сглаз, направленный на Таточку злыми завистницами.) Оторвавшись от вязания, она несколько секунд пристально смотрела на меня поверх очков чуть прищуренными карими глазами. У меня душа уходила в пятки: казалось, что Таточка видит меня насквозь и знает про все мои последние капризы и шалости. Я робко к ней подходила, целовала в прохладную щеку (горькова-

тый запах духов и почему-то сухих розовых лепестков становился явственнее, почти осязаемым) и испуганно шепелявила: «Тата, Вы мне... Ты мне... разрешите посмотреть камушки?» — «Конечно, Ольгушка, иди, смотри», — ласково говорила Тата, и я поспешно смывалась. «Камушки» — чудесная коллекция уральских и бразильских минералов Сергея Владимировича хранилась в его кабинете, и я могла рассматривать ее часами. Из холла доносились тихие голоса Таточки и мамы. «Вот видишь, Катенька, ведь меня же она слушается. И совсем не капризничает. Почему же тебе не удастся с ней совладать?» — «Да, мамочка, конечно, но ты понимаешь...» Дальше оправдывающийся мамин голос переходил на шепот, и больше ничего из разговоров на «педагогических» заседаниях я уловить не могла... Поблескивали на полках аметисты и топазы (необработанный снаружи камень удивительно контрастировал с драгоценно-переливающимся игольчатым нутром), тихонько позвякивала на кухне кастрюлями Поля, в высокие окна заглядывал короткий зимний день. Над крышами домов поднимался из труб серый дымок и смешивался с розоватым закатным морозным маревом. В полукруглой, эркером, столовой поскрипывал паркет и белели французские прозрачные занавески в белую мушку. По-летнему заливались в клетках канарейки. «Приводи Ольгушку в следующий раз, мы их с Егорушкой запишем», — заканчивает Таточка разговор с мамой, и мы уходим.

Тата решила записать на диктофон «художественное» чтение внуков. Егор

блестяще справляется с заданием, а я, неделю старательно зубрившая «Вырастет из сына свин...», услышав змеиное шипение диктофона, сбиваюсь. Мама гневно сверкает глазами и досадливо кусает губы. Таточка добро щурится. У меня нестерпимо горят уши и щеки. Хочется стать маленькой-маленькой, крошечной, провалиться в щель в паркете и исчезнуть. Какой ужас, я опозорила перед Татой!

Все внуки и внучки очень дорожили мнением Таточки. Она была той самой «mater familia», тем центром гравитации нашей семейной «галактики», тем светилом, вокруг которого в раз и навсегда заведенном порядке вращались планеты, спутниками и астероидами дети, невестки, внуки, друзья. Она примирила, организовывала, упорядочивала всю эту шумливую толпу одним фактом своего тихого присутствия, и каждый находил подле нее то, что искал. Кто — успокоение, кто — радость, кто — вдохновение. Она не требовала ни уважения, ни любви, но все без исключения относились к ней с любовью и уважением. Ей хотели нравиться, ее похвалы добивались, к общению с ней стремились. Она исподволь изучала очередного «новенького» внука или внучку, быстро понимала, что кому интересно и близко, и старалась дать самое для него важное и нужное. Была у нее маленькая невинная хитрость, позволявшая каждому из нас почувствовать себя уникальным, неповторимым, самым дорогим и замечательным. Каждому из нас она в какой-то момент по секрету обязательно говорила, что он-то (она-то) и есть ее самый любимый внук (или внучка).

Когда девятилетняя дочка Никиты Сергеевича Аннушка небрежно, но с тайным ликованием пробросила в разговоре, что она у Таты самая любимая, я, шестнадцатилетняя, разобиделась, но со временем поняла, что только так и можно было примирить всю «мелюзгу», не возбудив в наших горделиво-требовательных юных душах разрушительную ревность. Каждый верил в свои, особые отношения с Татой, да так оно в конечном итоге и было. Как увлеченно она беседовала со всеми нами, радуясь пустяшным диалогам и неизменно их записывая.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«Гуляем Оля, Егор и я [Наталья Петровна. — О. С.]

— Тата, а ты могла бы ехать на велосипеде? — спрашивает восьмилетний Егор.
— Могла бы, на трехколесном, — отвечаю.

— Да еще двадцать лет бы сбросить, — добавляет семилетняя Ольга.

— Олечка, а если мне двадцать лет прибавить, то сколько сейчас мне будет?

— 91, — отвечает Ольга мгновенно и добавляет: — Можно до 107 лет дожить!

— Каким образом? — спрашиваю я.

— Очень просто: никогда, никогда не смотреть телевизор! — отвечает Ольга.

Егор спрашивает Ольгу:

— Хочешь, я тебя бузиной накормлю?

— С удовольствием, только как-нибудь в следующий раз!»

Во время одной из прогулок Таточка спасла Егора от увечья, а может, и от

смерти. На них на большой скорости налетел какой-то бестолковый велосипедист, и Таточка в последнее мгновение прикрыла собой маленького Егора. После того случая у нее так сильно болела спина, что пришлось делать операцию на позвоночнике. Хирургия особо не помогла, и до последних дней Таточка страдала, никогда вслух не жалуясь. Она умела радоваться, находила хорошее в самых незначительных мелочах. Распустившийся розовый бутон на клумбах под окном спальни, собранный утром росистый букетик фиалок, растущих тут же, под розами, особо удачная трель канарейки, поспевавшая на грядках клубника — и глаза у Таты начинали весело блестеть, а голос молодо звенел. Радость жизни она унаследовала от своих родителей — Петра Петровича Кончаловского и Ольги Васильевны, урожденной Суриковой. У Таты с раннего детства сложились удивительные отношения с отцом. Она уважала его, пожалуй, даже боготворила и одновременно нежно любила. Папа был лучшим другом, строгим учителем, недостижимым божеством, милостиво спустившимся к ней и маленькому брату с творческого Олимпа. Папа — последняя инстанция, непререкаемый судья, всегда самый добрый и мудрый. Отношения эти возникли в раннем детстве, когда Петр Петрович неотлучно просидел несколько недель подле заболевшей дочки.

Из дневника Н. П. Кончаловской:

«В 1909 году мы жили всей семьей четвером в Абрамцево. Там возле большого дома Аксаковского есть такой флигель.

Вот в нем мы и жили. А в большом доме жили Самарины: Лиза, Юша и Сереженька. Были они после смерти Веры Саввишны на попечении ее сестры Александры Саввишны Мамонтовой. Лиза была чудесная девочка, удивительно умная и хорошая. Сереженьке было пять лет. Он был веселый. Все лето мы проводили вместе. В сентябре я и Сережа заболели скарлатиной. Я болела во флигеле, а Сереженька в Москве. Мишу мама увезла в Москву, а я с папой осталась в Абрамцево. И вот я помню очень отчетливо вечера в Абрамцево с керосиновой лампой, рядом с папой. Уже была поздняя осень, когда я начала вставать и ходить по комнате. Помню, мама с Мишей уезжали из Абрамцево в Москву. Я смотрела на нее в длинное узкое окошко. Миша стоял под окном в желтом драповом пальтишке с золотыми пуговицами, в шапочке и желтых кожаных гетрах. Рядом стояла мама, оба мне кивали и улыбались. В дом им войти было нельзя, карантин. И вот все шесть недель моей болезни папа возился со мной, как нянька. Читал мне, кормил меня, лечил. Я помню папино лицо, склонившееся надо мной. Русая борода, усы, серые глаза выразительные, лицо бледное (у папы никогда не было румянца), волосы копной, чудная улыбка была у папы — лучистая. Вскоре я поправилась, и папа отвез меня в Москву на поезде. А Сереженька умер, и его схоронили в Абрамцево, рядом с матерью Верой Саввишной, той самой “девочкой с персиками”, которую писал Серов».

В 1914 году Петр Петрович ушел на фронт, и в течение трех лет семья жила

тревожным ожиданием. Что за письма отправляла Тата, двенадцатилетняя, Петру Петровичу!

«Дорогой папочка, я без тебя так скучаю. Ради Бога, попросись на отпуск. Ах, как бы я была рада, если бы вдруг звонок. Телеграмма: “Приезжаю такого-то числа”. Я просто не знаю, что бы сделала, если бы ты тут был. Я жду телеграммы с каждым звонком. Время идет так быстро. Прямо летит. Уже не успеваешь оглянуться, как осень, а то весна, а то вдруг зима. Одним словом, очень быстро. Целую. Твоя Наташа». (1915 г.)

«Милый папочка! Я тебя ужасно люблю!!!!!!

Я сделала невероятные успехи по роялю. Сижку, играю до одеревенения пальцев. Результаты получаются утешительные. Да! Помнишь, папочка, Баха мы с тобой учили. Я его уже давно знаю наизусть и пьеску тоже “Jeu de cercle”. Я, папочка, очень боюсь, что ты рассердишься на меня. Я взяла без спросу твоих красок, но не из тюбиков, а со старой палитры, которая валяется на шкапу. Эти краски все пересохли, и лишь только если их расковырять, то в середине едва ли найдется теперь немного мягкой краски, а мне очень нужно было, потому что мы устраиваем выставку “Мир творчества”, на которой будут выставлять и другие дети. Напиши, папочка, сердисься ли ты или нет??? А то мне очень неприятно, может быть, они тебе нужны???????

Я страшно хочу тебя видеть и очень соскучилась. Мы уже придумали план для Нового года. Если ты будешь тут, тогда вы с мамочкой, наверное, куда-нибудь

уедете. А мы втроем: Грунька, Мишутка и я — наденем лучшие платья, купим вина, квасу и закусок и будем одни встречать Новый год. И потом я буду играть какую-нибудь веселенькую штучку, а они будут пьяные плясать. Вот весело-то будет!!!!!! (1916 г.)

«Христос Воскресе!

Дорогой папочка, я стала умной и стала больше понимать и нередко разговариваю с мамой. Сегодня я, например, узнала, для чего человек живет! Что значит материальная и духовная культура жизни души! Это мне показалось очень интересным. И пока думаю много об этом и развиваю мысли. Я начала играть новую пьесу “Chante d’amour”. Это очень хорошенькая вещица!

В этом году мы исповедовались и причащались. Батюшка, что меня исповедывал, велел каждый день читать по 5 строк Евангелия.

Целую тебя крепко. *Наташа*
(30.03. 1917 г.).

В тринадцать лет Тата сочинила свои первые стихи — героические, про войну, и послала с письмом к «папочке» на фронт. В них, как ни странно, уже угадывался замечательный стиль написанной тридцать с лишним лет спустя книги в стихах «Наша древняя столица». С младенчества она росла среди подрамников, натянутых холстов, запаха красок на палитре, новых папиных картин, перво-наперво выставляемых им на суд Ольги Васильевны, разговоров о живописи его коллег-художников. Творчество незаметно, исподволь входило в мысли, в сознание, в душу. Жизнь вне творчества казалась лишен-



Наташа и Миша Кончаловские с В. И. Суриковым, 1910 (1911)

ной смысла, жалкой, убогой. Мысли путались, будущее виделось как в магическом кристалле — мутно, туманно, калейдоскопом крутились в головенке романтические девчоночьи мечтания, но главное: литературный талант — пусть в зародыше, пусть дремлющий до поры до времени — уже был. А еще была легкость, чисто французская, капельку (именно насколько позволяет хороший тон) легкомысленная. Подарок французской бабушки Елизаветы Августовны де Шарэ своей дочери Ольге Васильевне, в целости и сохранности переданный ею в свою очередь Тате. Как же легки были эти женщины на подъем!

«А не поехать ли нам поучиться у мастеров в Париж (пункт назначения регулярно менялся: Рим, Сиену, Испанию, Капри)?» — раздумчиво спрашивал

Петр Петрович Ольгу Васильевну за утренним кофе, поглядывая в окно на заснеженную Москву.

«Конечно, Петечка, — весело отвечала Ольга Васильевна. — Сейчас соберусь». И вечером того же дня вся семья — родители с небольшим чемоданчиком и саквояжем, Наташа в пелеринке, маленький Мишечка в теплом пальтишке и картузике — садилась в поезд, отправлявшийся в Париж или еще дальше: в солнечно-апельсиновую Италию или замерзшую под зноем Испанию.

В Париже Ольгу Васильевну принимали за француженку. Говорила она без акцента. Таточка тоже с молодых ногтей свободно болтала по-французски. В Париже провела она с родителями весь 1908 год, часть 1910-го (вместе с дедом Василием Ивановичем). Тюильри и Люксембургский сад, набережные Сены

с букинистами и средневековые улочки Марэ, маленькие прокуренные быстро с гомонящими у длинных стоек посетителями и прохладное безмолвие музейных залов в рабочие дни — все это было Таточке до боли знакомо и дорого с детства. До старости она наведывалась в Париж по литературным делам, а иногда и просто так, останавливаясь в квартире у своей закадычной подруги Жюльетты Фортрем. Французская легкость и наш советский режим — понятия взаимоисключающие. Особенно ощутимо это стало после 1964 года, когда началось сначала осторожное, а потом все более явно «закручивание гаек». Тату оно не коснулось. «В Париж? Ну что же, Наталья Петровна, езжайте. Правила знаете: биография, анкеты в трех экземплярах, характеристика из Союза писателей, данные о приглашающей стороне, фотографии. Заполняйте документы. Все сделаем». Дело было не столько в положении Сергея Владимировича, сколько в «скромном» подарке, своевременно преподнесенном Таточкой государству. Была у нее пара бриллиантовых серег по четыре карата каждая. Неспешно открыв коробочку с драгоценностями, достала она как-то эти загадочно поблескивающие серьги, прищурившись, повертела на свету, любуясь игрой изумительной чистоты камней, а потом, решительно положив в небольшой футляр, отвезла в Комитет защиты мира. Деятельность этой организации была направлена на «сохранение мира во всем мире», но злые языки утверждали, что ювелирные дары, получаемые от «сознательных» представителей творческой интеллиген-

ции, прямым ходом переключивались в сейфы партийных жен. Впрочем, это уже детали, а суть в том, что после описанных событий Таточка, не дожидаясь мужа просьбами о помощи, могла сама в любой момент и в кратчайшие сроки оформить документы и ехать в любимый Париж с поистине французской легкостью!

Об удивительной молодости моей бабушки я узнавала из разных источников: ее собственные воспоминания вечером на Николке, книги, письма, мамины рассказы. Все это постепенно складывалось в красочную, полную неожиданностей живую картину, где комичное незримо, но крепко переплеталось с трагичным, а навернувшиеся на глаза слезы внезапно сменялись веселым смехом.

Уже шел 1926 год, а двадцатитрехлетняя Таточка все еще не включилась в бурную послереволюционную жизнь. Главными ее занятиями в то время были: чтение по-французски Гюго и Альфонса Додэ, путешествия по Италии и Франции с родителями, ведение хозяйства с мамой Ольгой Васильевной и игра в четыре руки на рояле третьей симфонии Моцарта с подружкой детства Лизой Самариной (дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего синода и внучкой Мамонтова). Умненькая, веселая, пикантная, Таточка пользовалась заслуженным успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем. Юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Вый-

ду замуж и рожу пятерых детей!» Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость, сорокалетний красавец Алексей Алексеевич Богданов, мой будущий дед. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем (род пошел с бабки — крепостной, получившей волю и начавшей дело с лотка), и строгой чопорной эстонской немки Марии Романовны Фельдман, пришедшей в дом вдовца с детьми гувернанткой и сумевшей стать хозяйкой. Разницы между двумя старшими сыновьями и детьми, родившимися в браке с Марией Романовной — Лешей и Леночкой, — не делали. Все дети получили блестящее образование. Алексей Алексеевич учился в Англии. С фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрит по-кошачьи удлинёнными глазами стоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. «Неужели это мой дед?» — застывал на губах безмолвный вопрос в раннем детстве. С годами я с очевидностью освоилась. Франтоватый «дореволюционный» красавец, которого я никогда не видела, да и мама помнила смутно, медленно входил в мою жизнь. Делали свое дело пожелтевшие фотографии, а главное — встречи с уцелевшей в сталинской «мясорубке» его младшей сестрой, маминной тетужкой Леной. Маленькая сухонькая старушка, напоминавшая добрых волшебниц из андерсеновских сказок, встречала меня ласково. Порой эти визиты носили не только родственный характер. Тетя Лена была феноменальным зубным врачом. В ее чистом кабинетике, выгоро-

женном в квартире, стояла старая-престарая, с ножным приводом(!) бормашинка, с которой она ни за что не хотела расставаться. Тата подарила ей на день рождения новую, сверхсовременную бормашину, но чудо техники хранилось под чехлом, а работать тетя Лена продолжала на дотошной. На ней и «чинила» мои хилые молочные зубы, уже к шести годам погубленные конфетами. Ощущение было поразительное: никакой боли! В беззлбное жужжание бормашинки влетал тихий дребезжащий голос тети Лены, и за их журчащими разговорами с мамой я, дошкольница, и не замечала, как очередной зуб был просверлен и запломбирован. «Оленька, ты должна чистить зубки каждый день, утром и вечером», — с немецкой педантичностью наставляла меня на пороге тетя Лена, — «обещаешь?» — «Постараюсь, — шепелявила я. — Каждый день, может, и не получится, тетя Лена, а через день чистить буду обязательно». Мама смущенно смеялась, тетя Лена укоризненно качала головой, скрывая улыбку. Мне было покойно и весело, как бывает, когда рядом с тобой добрые родные люди. А вскоре тети Лены не стало. Она оставила маме небольшую аккуратную рукопись, в которой рассказывалось о детстве и юности деда. Остальное я узнала от Таты.

Старший сводный брат деда Петр Алексеевич, женившись на смуглой стремительной еврейке-подпольщице Асе, ринулся в революцию и работал с Лениным в Совнархозе, а по-эстонски спокойный, медпительный Алексей Алексеевич вначале держался от политики в

стороне. Вернувшись в Москву, блестяще окончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно (шел на золотую медаль, но, как джентльмен, от нее отказался в пользу учившейся с ним невесты), женился, пошел по стопам отца — в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга, государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать.

Гремел фокстротами и стрелял шампанским НЭП, чуть пополневший, но неизменно красивый, Богданов педантично просматривал счета и бумаги — голубые глаза довольно поблескивали: дела предприятия шли отлично. И жена, может, излишне эмансипированная, но образованная и светская дама, хороше-ла. Только вот детей Бог не дал, но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке через Владивосток, через Японию в Америку для закупки китобойных судов.

Знакомство с Татой, произошедшее за несколько месяцев до отъезда, полностью изменило его жизнь. Начались тайные встречи. Потом наступило лето. Богданов уехал с родными на дачу. Аккуратно писал Тате письма. Жена, с которой прожил одиннадцать лет, становилась чужим человеком. Жалость к ней слабо боролась с желанием объяснить. Дни проходили в молчаливых раздумьях: «Как сказать?» Каждый вечер, так ни на что и не решившись, чувствовал себя бесконечно усталым. Выводил карандашом на тетрадном листочке: «Дорогая Наташа, вечер. Иду спать на сеновал».

Осенним днем 1927 года молодая женщина в густой вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва — Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Конечно, это была Таточка! Так и не решившись поговорить с женой, Богданов предложил Тате бегство. Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. На огромный корабль «Президент Кливленд», отплывавший из Владивостока в Америку, Наталья Петровна поднялась законной женой.

Ах, что это было за путешествие! Плыли первым классом. В великолепном большом холле играл джазовый оркестр, в кадках стояли зеленые деревья, ноги тонули в мягких коврах, на теннисных кортах азартно размахивали ракетками спортивные американцы, парикмахеры и массажисты в накрахмаленных халатах поджидали клиентов в салонах красоты.

Первые три дня Таточка страдала от качки, но потом, проглотив три таблетки всесильного американского аспирина, абсолютно поправилась и в сочельник уже лихо отплясывала на балу фокстроты с мужем и помощником капитана, с которым они сидели за одним столиком.

Каждый день, закутавшись в длинное пальто с меховым воротником, гуляла она по верхней палубе. Поеживаясь от порывов холодного ветра, боязливо любовалась на гигантские, с трехэтажный дом, волны. Не оставляло ощущение нереальности происходящего. Она —

замужняя дама, плывет в Америку, так бесконечно далеко от Москвы, от родителей, от брата?!

Америка встретила Тату небоскребами, смогом, суетой и выхлопными газами. Америка жила сверхскоростной жизнью, зарабатывая деньги, отплясывая фокстроты, выдумывая Микки-Мауса и планируя первую церемонию вручения «Оскар». Уже были казнены Сакко и Ванцетти, готовился к президентской предвыборной кампании Герберт Гувер, восьмой год процветал сухой закон. Врачи еженедельно регистрировали сотни случаев паралича после употребления недоброкачественного подпольного спиртного. Неподкупный Эллит Несс охотился со своими агентами за Аль-Капоне. Могущественный гангстер обдумывал, как отделаться от навязчивого стража порядка и враждебных группировок. Близилась пулеметная перестрелка в Чикаго, когда он разом перестреляет семерых мешающих «коллег». Неотвратимо надвигался черный четверг. Эрнест Хемингуэй сел за роман «Прощай оружие!».

Тате предстояло провести в Штатах больше трех лет. Все эти годы она подробно, два раза в неделю, рассказывала про свое американское житье в письмах Ольге Васильевне. Начала с описания небольшой квартирки, арендованной Алексеем Алексеевичем в Сиэтле, на 135-й, Hardward North: «Сиэтл — громадный чудный город. Сейчас мы в отеле “Олимпик”, но вчера сняли квартиру очень дешево. Она состоит из одной большой комнаты — гостиной и спальни одновременно, маленькой чистой кухни, ванной с уборной



Таточка, 1926

вместе, комнаткой для туалета и комнаткой для белья и гардероба. Одна стена в гостиной вертящаяся. На ночь берешь за ручку, как будто открываешь дверь и переворачиваешь целую стенку, и выезжает складная чудная громадная постель, которая сложена кверху к потолку. Ты нажимаешь на кнопку, и она опускается и становится на четыре ножки. На день кровать убирается, стенка поворачивается, и кровать, сложенная кверху, находится в туалетной комнате. А гостиная делается общей комнатой, где стоит большой диван, два кресла, большая лампа на ножке, столик для чтения, столик для курения, на полу ковер на всю комнату, два окна, “рояль”!!!!, т. е. хорошее пианино, и большое зеркало. Рядом кухня, электрическая плита с духовкой. У окна черный круглый лакированный стол и шесть

черных таких же стульев. Затем чудная-чудная белая ванна, тоже электрическая, нажмешь кнопку — и вода в кранах нагревается. Чистота необычайная. Под коврами пол, как зеркало, из светлого дерева. Стоит эта квартира шестьдесят долларов в месяц...»

Тата с детства была приучена к домашней работе. Это ее очень выучило в Америке, потому что прислуга оказалась не по карману. Жалованье мужа было советским, мизерным, меньше, чем у американского каменщика, а чистоту в квартире требовалось поддерживать идеальную: хозяйка, жившая на первом этаже, регулярно устраивала инспекцию. И Тата отдраивала полы, мыла кафель в ванной и на кухне, готовила обед, гладила рубашки. Умудрялась угодить и хозяйке, и придирчивому Богданову (за педантичность Петр Петрович прозвал зятя «немцем»). Домашняя работа не мешала совершенствованию английского — два вечера в неделю Тата проводила на бесплатных курсах английского языка для иностранцев. Вскоре она полностью втянулась в американскую жизнь. Свободно говорила по-английски с молодыми американками, знала, в какой лавке, у какого зеленщика-итальянца недорого купить самые свежие овощи, щадя семейный бюджет, научилась шить себе платья по модным журнальным выкройкам. Только с пылесосом вышла накладка: не зная первые недели о его существовании, Таточка яростно выбивала ковры и подушки на балконе. Под окнами оставались удивленные прохожие: «Poor girl, she hasn't vacuum cleaner». Многие в Штатах Таточке нравилось,

что-то раздражало. Фокстроты, к примеру. На фокстротах была помещена вся Америка, фокстроты слушали по радио с 8 утра и до полуночи, из всех окон раздавались только фокстроты, ни одной классической мелодии. Соседка, даже уходя из дому, оставляла радио включенным: «I like it! It's a fabulouse popular music!»

«Дорогой папочка,— писала она П. П. Кончаловскому,— если бы ты только мог себе представить, до какой степени тупы американцы в музыке и до чего у них музыка бездарна. Вкусы стоят на самом низком уровне. Чудная японская музыка, китайская, древнееврейские мелодии (я как-то слышала здесь) оставили неизгладимое впечатление. Но американцы ничего не понимают. “Absolutly”. Они смеются над китайской музыкой до истерики. Когда какая-то актриса стала петь арию Тоски, то они принялись кричать: “Heu, ho”. Пришлось скорей ей заканчивать. А после этого пошли фокстроты и свистопляска, и они бесновались от радости...»

На выставке русских художников в Нью-Йорке Таточка констатировала, что большинство американцев и в живописи смыслят немного. Сверкая глазами и радостно галдя, они, как дети, толпились возле лотков с кустарными изделиями, восхищаясь лукошками, цветастыми платками и деревянными коробками и едва замечая серьезных художников.

Она сообщала в письме О.В. Кончаловской: «Американцы сейчас увлекаются “modern art”, а произносят “мадерн арт” (Алеша ужасается). Это как раз

Штрэнберг <...>, по-видимому, у него здесь много друзей. Покупают только тех, кого хвалят в газетах. Вот о Штрэнберге писали, и у него много куплено, и перед его работами масса нью-йоркцев. На папочкины вещи смотрят, потому что церкви. А уж на Осьмеркина и Фалька совсем не смотрят. Толпы стояли перед революционными картинами и перед чьим-то портретом Ленина. Живопись их абсолютно не интересует, а только сюжет. Вообще Америка так бедна в отношении искусств, так бездарна, что здесь тяжело жить. Здесь ничего не ценят, кроме долларов».

Иногда Богданова приглашали на балы и обеды в «Golf Club», в компании американских болтунов и сибаритов. Таточка, если удавалось найти молоденькую умненькую американку, веселилась. Но чаще всего ее окружали поджарые старухи с веснушчатými руками, заинтересованно спрашивали: «Есть ли у вас в России картофель?», «Носят ли русские женщины серьги?» Приходилось вежливо растолковывать правду про российскую жизнь, втайне сожалея о погубленном вечере и пропущенном в соседнем кинематографе фильме с ковбоями, дикими лошадьми и красоткой в рейтузах и револьвером за поясом: очень Таточке такие фильмы в молодости нравились. А еще ей нравилась рыбная ловля. В выходные они с Алексеем Алексеевичем уплывали часов в пять утра на большом катере в океан смотреть на восходящее солнце, наслаждаться тишиной и соленым морским воздухом, радоваться улову.

У Таты с юности была жажда узнавать. Она окрестила это желание все увидеть

и понять «жадностью» и просила не путать со скупостью. В Америке в поисках новых интересных мест и уголков каждый день часа по два бродила по городу.

Из письма к П. П. Кончаловскому: «Дорогой, миленький мой папинька!

Сейчас получила твое и мамочкино письмо. Радости сколько у меня!.. Сегодня я провела чудесный день. Пошла искать чего-нибудь интересного посмотреть и напала на естественный музей. Просидела там четыре часа и не могла уйти. Там собраны коллекции всех деревьев, всех цветов, всяких водяных растений, громадные чучела животных всего мира, даже голова мамонта. Но что замечательно, это зал индейцев. Индейцы у них представлены идеально, перенесены большие вигвамы. Их изделия, ковры, одеяла, корзинки плетеные — это верх искусства и верх вкуса. Такое благородство во всем. Какие у них цвета, папочка! Я никогда не видала такой красоты, дикой какой-то. Масса их фигур стоит — каманчи, навахи. Все они коричневые, строгие, мудрые и страшно гордые и благородные, прямо аристократы. Я наслаждалась и переживала детство и Майн Рида. Ты бы с громадным интересом бродил тут. И как жалко, что сейчас оставшихся индейцев стараются окультурить, насильно гонят в школы и обращают в христианство. Но их еще много в горах, и они живут по своим извечным законам. Я сейчас полна этих впечатлений и уж, конечно, буду во сне сегодня гоняться по прериям в мокасинах и в перьях с лассо за дикими лошадьми и толочь кукурузу в деревянной ступке. Правда, это куда лучше,

чем вся американская свистопляска и 40-этажные дома. Сейчас сижу у открытого окна. Подул свежий ветер, сейчас вечер и на улице темно, окна у всех раскрыты и отовсюду несутся вихрем фокстроты всех сортов и размеров. Но я очень хорошо себя чувствую, потому что живу с тобой и мамочкой и будто с вами говорю. Все вы в моем сердце сидите глубоко и крепко, и я горжусь тем, что я ваша дочь».

Тата часто навещала своего крестного — скульптора Коненкова. Вместе встречали Пасху, обсуждали новости российской эмиграции. Коненков показывал маленькие скульптурки, сделанные для «души» — изящные, талантливые, несравненно сильнее того, что ему приходилось делать на заказ. Маргарита, его молодая жена, горделиво принимала гостей в обтягивающем платье, с зелеными, по последнему слову моды, ногтями.

«Маргарита ужасна,— пишет Тата своей матери.— Мне прямо стыдно с ней ходить. Она так вертит боками, так кривляется и задирает юбку, когда садится. Страшно делается, и Крестного жаль... Боровский где-то в Германии, Рахманинов совсем переехал в Париж и продал свой дом в Нью-Йорке. Не вынес Америки. Шаляпин уехал на лето. Крестный рассказывал про проделки Бурлюка, который сейчас здесь. Он, оказывается, был в Японии до Америки. Устраивал там свою выставку. Но она не пользовалась большим успехом, и он выручил мало. В разговоре с японцами они его спросили, не может ли он устроить выставку хороших художников, таких как Коровин, Архипов, Малявин

и другие. Бурлюк подумал и сказал, что, конечно, можно и как раз на днях сюда придут вещи этих художников, которые он собирал еще в Москве. Сам пошел домой и в три дня накатав всех художников и за всех подписался. (Вот мерзавец!!) Затем устроил выставку, собрал кучу денег и уехал в Америку. Сюда он приехал как турист, и ему разрешили пробыть полгода. Он катался по Америке с женой, совсем устроился, стал работать. Но, на свое несчастье, пошел регистрироваться (а о нем уж все забыли), и когда узнали, что ему было разрешено оставаться только полгода, то вызвали на “остров слез” (место, куда ссылают иностранцев, преступивших закон). Оттуда уже трудно выбраться: их там засаживают. Когда ему сказали, что он не имел права оставаться больше полугодика как турист, то он ответил: “Что вы, я разве сказал, что турист? Я ведь сказал, что я футурист! Так что это mistake”. Американцам это так понравилось, что они ему разрешили жить в Америке, и через пять лет он получит гражданство. Вот каков Бурлюк».

Сизл Тата любила: он напоминал ей Владивосток. Нью-Йорк, где приходилось бывать из-за работы Богданова, не выносила, называя худшим местом на земле. Днем ей не хватало солнца, спрятанного небоскребами, по ночам пугали автоматные, а то и пулеметные очереди: полиция охотилась за мафиози, убежавшие и догонявшие были вооружены до зубов. Сражаясь с коза ностра, власти пошли на крайние меры — дали полицейским право открывать огонь по любой не остановившейся по их указанию машине. Тату поразила история с толь-

ко севшей за руль дамой. Бедняжка не заметила стража порядка, сделавшего ей знак затормозить, и тот ее застрелил. Тате, выросшей среди людей творческих, чиновничья жизнь мужа абсолютно не нравилась. Она не только с детства сочиняла стихи, разбиралась в живописи, но и любила музыку. Петр Петрович пел ей, годовалой, русские народные песни (голос у него был чудесный, сильный). Она замирала, зачарованно слушала. Пел веселое — улыбалась, стоило слышать печальное: «Зеленая роща всю ночь прошумела...» — как из глаз безудержно текли слезы. Она не стала пианисткой, но играла замечательно и в музыке разбиралась как профессиональный музыкант. Идея пришла сама собой: «Лешенька отлично окончил консерваторию, почему бы ему всерьез не заняться музыкой? Это несравнимо интереснее, чем пароходы и консервные банки, о которых он печется все дни напролет!» Каждый вечер двадцатипятилетняя Тата внушала Алексею Алексеевичу, что его место на сцене. Богданов мало верил в себя, но очень верил жене, а главное — бесконечно ее любил. Он надеялся стать полноправным членом семьи Кончаловских, просил, чтобы в письмах теть и теща обращались к нему на «ты», мечтал, как они пригласят его присесть на огромный диван, стоявший в мастерской Петра Петровича (об этом излюбленном месте отдыха всей семьи Таточка часто ему с ностальгией рассказывала). Алексей Алексеевич любил все, что любила она. Чтобы доставить ей удовольствие, шел на любые жертвы. Каждый день, придя с работы, немолодой, уставший человек

облачался в сшитый Татой шелковый халат и старательно вспоминал забытые за пятнадцать лет произведения Листа, Бетховена и Шопена. Соседи снизу злобно стучали шваброй в потолок. Ни он, ни зачарованно слушающая его Таточка не обращали на это никакого внимания.

«Я тебе сейчас пишу, а Алешечка играет этюды Шопена,— сообщает она О. В. Кончаловской.— Разучивает медленно, как ученик. Звук у него просто удивительный, полный и мягкий. Алеша только и мечтает, как будет папочке и тебе играть. И сейчас страшно старается. Я должна тебе сказать, что техника у него сохранилась и ему ничего не стоит ее восстановить. Он у меня стал страшно требовательный с тех пор, как начал заниматься. Требует, чтобы я ему руки холила и мазала. Требует, чтобы я ему голову мыла, капризничает, как ребенок. Я с радостью вожусь с ним, ведь никто никогда с ним не возился, как с пианистами возятся, и мне кажется, что он счастлив. Он такой чудный человек, так преданно и нежно любит меня и, в свою очередь, так заботится обо мне. Он, мамочка, еще покажет себя и в музыке. Я в это верю. А главное, что он сам стал верить. А это самое, самое важное в жизни: вера в себя. Мне удалось ему ее внушить. Я торжествую, я сама не играю (как раньше думала: буду играть), но зато я — пульс Алешиной жизни, как он сам говорит (это я только для вас пишу, и ты никому не повторяй), и причина его возврата к музыке — это я. Ты представляешь, как мой курносый нос теперь радостно задирается кверху?!!»

Таточка во всем, всегда подражала Ольге Васильевне. Восхищалась ее твердым характером, силой воли, самопожертвованием. Называла своим «дружочком», «карапузиком», «идеалом». Позднее полюбила сонет:

Я голос твой узнаю без ошибки
Из тысячи знакомых голосов.
Он надо мной звучал от первых снов,
Когда меня ты усыпляла в зыбке.
Он таял в нежности твоей улыбки,
Струился в запахе твоих духов.
Он отвечал на мой горячий зов,
Твой голос нежный —
женственный и гибкий.

Твоей походки скованные звенья
Я различу, где только видит глаз,
В ней отражен твой жизненный запас.

Ольга Васильевна отдала жизнь мужу-художнику. Тата была готова отдать ее будущему пианисту. Чем покорнее и увлеченнее занимался дед музыкой, тем реальнее становилась Таточкина мечта сделать из него знаменитость. Ей уже виделась Москва, Большой концертный зал консерватории, афиши с именем Богданова. Близилась, близилась чудесная творческая жизнь, и от предвкушения этого, казалось, почти осязаемого будущего Тата ликовала: «Мамочка, самое лучшее призвание, по-моему (кроме детей), это быть нужной своему мужу как вода и воздух. Алеша без меня не может жить совсем теперь, после того как я его уговорила начать заниматься музыкой и внушила ему эту веру в себя. Если бы ты знала, как я его люблю ужасно, как он мне дорог, как жизнь прямо. Да ты, конечно, знаешь! Тебе ведь папочка так же дорог, как жизнь!

Я ведь во всем стараюсь подражать тебе и сама создаю себе твой характер и привычки (это для меня идеал). Очень смешно бывает, когда Алеша сидит, играет, а я куда-нибудь уйду в другую комнату, а он поиграет и пойдет меня искать: “Где ты? Что ты делаешь?” Он любит, когда я сижу и работаю рядом с ним около рояля. ...Мы живем друг другом, твоими письмами и нашей музыкой. Мы оба всегда удивляемся, за что судьба нам послала друг друга и такое счастье. Мы с Алешей третий год переживаем медовый год и ходим, как новобрачные, которым, кроме друг друга, ничто не интересно и не нужно. Надо увидеть нас идущих по улице под руку: никогда и не скажешь, что люди третий год женаты. Мы до сих пор выглядим так, будто только что встретились украдкой на углу улицы и спешим в какой-то кинематограф или ресторанчик, чтобы скрыться от людей. Это прямо удивительно. Утром мы так долго прощаемся, целуемся и крестим друг друга, как будто расстаемся на неделю, а в пять часов вечера кидаемся друг друга в объятия, будто неделю не виделись. Это редко бывает на свете. Но у нас это есть, и мы это бережем».

Они уже собирались вернуться в Москву, как пришло известие, что надо задержаться еще на год. Скрепя сердце остались. Дед продолжал играть по вечерам дома и в гостях у Коненкова. Раз, исполняя органнй концерт Баха, сбился посредине, долго импровизировал, с божьей помощью «вырулил» на заключительные торжественные аккорды. Жена Коненкова с уважением заметила: «Ну и память у Вас, Алексей Алексе-



С Катенькой, 1933

евич, такую большую вещь без нот сыграли!» Таточка смешливо написала об этом Ольге Васильевне, но в душе появились первые, едва заметные сомнения: «А что, если такое произойдет на концерте?!» Постепенно они переросли в уверенность. Играл дед прекрасно, мог преподавать, но концертная деятельность ему была заказана. «Мамочка... Вот насчет сонаты. Первую и вторую часть сонаты Алеша играет хорошо. Особенно марш траурный. Первая часть немного суховата, но он просто ее еще не прочувствовал, но марш и этот ветер после марша, который дует над могилой,— просто удивительно. Это ветер, пустота и небытие, ничего нету, кроме ветра и мрака. Это само по себе очень страшно, слишком реально. Алеша играет это очень хорошо: воет ветер, и так пусто-пусто на душе делается.

И никакой сладости и в помине не должно быть, и стихийности нету, и тревоги нету, никаких переживаний, потому что человек умер, и человека нету, а есть пустота, ночь и ветер на могиле. И это не должно шелестеть, потому что в шелесте есть романтизм, а это должно быть и должно пусто звучать. Алеша, как тончайший музыкант, это очень хорошо передает. Вообще, я не думаю, что он будет выступать. У него нету блеска в музыке, как это должно быть у эстрадного пианиста. Но у него есть глубина, чувства, большой дух, и дома его слушать просто блаженство».

Петр Петрович и Ольга Васильевна все чаще просили в письмах внука. Тата объясняла, что в Америке «наследник» будет не по карману: врачи и клиники стоят колоссальных денег. Обещала завести ребенка по возвращении в Рос-

сию. Читая письма, где она так убедительно объясняла чисто финансовые помехи, я поразилась ее выдержке. Обожавшая родителей, рассказывавшая им о своей жизни в мельчайших деталях, Тата, чтобы их не волновать, скрывает главное.

Она поняла, что находится в положении еще по дороге в Америку, в декабре 1927 года. Несчастье произошло через несколько недель после приезда в Сиэтл. С утра дед ушел на работу, Тата принялась за уборку. Перебирая бумаги на бюро, случайно нашла письмо его бывшей жены, которой Богданов, к слову сказать, аккуратно высылал часть своей зарплаты. Эмансипированная дама с папирской, всегда холодно-ватая, равнодушная к мужу и его интересам, «упустив» его, повела себя как средневековая ведьма. Уже собираясь замуж за нового поклонника, прокляла в письме Алексея Алексеевича, Тату и их будущих детей и внуков. Тем же вечером случился выкидыш. Тата оправилась, о страшном письме постаралась забыть. Выбирала имена почему-то только для девочек. Марфонька... Варенька... В течение трех последующих лет шесть раз обрывались нормально развивающиеся беременности. Старый врач озадаченно протирал очки после очередного осмотра. «Вы абсолютно здоровы, миссис Богданов. Не понимаю, почему Вам не удается доносить. Такого в моей врачебной практике не случилось!» Перед возвращением в Москву, во Владивостоке уже, родился мертвый ребенок. Плод к моменту родов начал разлагаться, боялись сепсиса. Спасла Тату умелая акушерка по имени Сара,

которую она всегда с благодарностью вспоминала. Приехав в Москву, поняла, что надеяться можно только на чудо. Пошла в маленькую церковь в Брюсовом переулке, встала на колени перед чудотворной иконой Богородицы «Взыскания всех погибших» и обратилась с горячей молитвой к кроткому, всепрощающему лику. Через десять месяцев, 7 ноября 1931 года, на колокольню церкви, находившейся недалеко от роддома, забрались озорные мальчишки и встретили «красный день календаря» веселым перезвоном. Под него и родилась у Натальи Петровны и Алексея Алексеевича дочь Катенька, моя будущая мама, большая, весом в пять килограммов, прозванная веселыми медсестрами Царь-бабой. Два года родители не могли нарадоваться на долгожданного ребенка. Лето проводили в усадьбе Петра Петровича — в Буграх, под Обнинском. Просторный деревянный дом с большими окнами, выходящими в чудесный яблоневоый сад, был построен еще в конце девятнадцатого века. Долгое время им владел профессор Трояновский. Потом купил Кончаловский. Приезжали в гости Лентулов и Машков с женами. Друзья уходили на этюды, супруги оставались беседовать дома. Жена Машкова, манерная дама, нарочито не выговаривавшая букву «р», заводила разговор о нападках критиков. Глубокомысленно делилась с Ольгой Васильевной: «Петг Петгович такая гуина! Такая гуина! Ему все гавно, а вот Игье Ивановичу не все гавно!» Пряча смешливые искорки в глазах, Ольга Васильевна сочувственно кивала. Дом гостеприимно принимал удивительных

людей: композитора Прокофьева, пианиста Сафроницкого, писателя Алексея Толстого. У прежней хозяйки, дочери профессора, сохранившей за собой небольшой флигелек в саду, часто отдыхал молодой Рихтер. Закатав брюки до колен, бродил ранним утром по густой росистой траве, потом играл. Петр Петрович целыми днями работал в мастерской. Внучка стала любимой моделью: писал ее спящей, играющей, на руках у няни, испуганно стоящей на слабых еще ножках у стула. Наталья Петровна, если дочка «не позировала», играла с ней, радостно хохочущей, перед домом. Алексей Алексеевич уходил с грустноглазым сеттером по кличке Альма в соседний лес охотиться. Он так и не стал профессиональным пианистом, да и в семью Кончаловских по-настоящему не вошел: к «немцу» относились доброжелательно иронично. Семейная жизнь Таты начинала незаметно давать трещины. Внешне все было замечательно. Дед аккуратно ходил на службу и писал длинные доклады. Вовремя возвращался домой, обстоятельно рассказывал о работе. Был вежлив, спокоен, ласков. Тата рассеянно слушала, не слыша, грустно улыбалась. Ей уже отчетливо виделась бесконечная череда ничем не отличающихся друг от друга дней. Сами собой складывались первые рифмы:

Мысли сонной недосуг
 Понимать восторгов шумных,
 Все спокойно, все разумно,
 Все замкнуто в тесный круг.

Ты вперед глядишь с тоскою —
 Все прожито, нету цели,

Только сумрак и покой.
 Нет, с тобой я не пойду.

Бывший друг мой,
 Друг мой милый,
 Я момент не упустила.
 Я другую жизнь найду.

Ты ж найдешь себе других.
 Тех попутчиков спокойных,
 Что, боясь путей окольных,
 Ищут скучных, но прямых.

Я пути найду не сразу,
 Но свобода — мой маяк...

Незаметно возникшее прохладное отчуждение оказалось разрушительнее открытых конфликтов. Долгие месяцы Тата думала, переживала, сомневалась, затем приняла решение. «Посвятить всю жизнь человеку, не занимающемуся творчеством, я не способна. Мы будем несчастны. Мы уже несчастны, и оба это понимаем». В день рождения деда, после обеда, твердо сказала:

— Алешенька, я от тебя уйду.

Он, внутренне к этому готовый, спокойно ответил:

— Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?

Попив кофе, они расстались. Вскоре вслед за его старшим братом посадили и деда. Из тюрьмы он не вышел: покончил жизнь самоубийством... Тате было тридцать два года. Почти каждый день она отправлялась с маленькой мамой в Московский университет слушать лекции по искусству, истории, философии.

— А что же делала мама во время лекций? — удивлялась я.

— С увлечением бегала в университетском гардеробе между студенческими



Таточка, 1939

шубками и пальто, — улыбаясь, отвечала Тата. — Старушка-гардеробщица за ней приглядывала, пока я «залатывала» пробелы в образовании!

За Татой тогда ухаживали многие. Она нравилась, хотя не была красива классической красотой, знала это и даже написала о своей внешности стихи:

О красоте

Что с того, что я не так красива,
Как меня поэт зарифмовал.
Неужели только в этом сила:
Цвет лица, и форма, и овал?

Неужели только римский носик,
Пышный локон, крашенная бровь

На высоты женщину возносят,
Возбуждая зависть и любовь?

Свежесть чувств заменит свежесть кожи,
Свежесть мысли — юных щек пожар,
И пускай мне сердце не тревожит
Мысль о том, что я не хороша.

При широких бедрах — легче роды;
Сердце крепче — при крутой груди;
И у мудрой матери-природы
Есть закон для всех людей один:

Если ты красив, то неудачлив;
Если неказист, то тароват;
Кто бедней лицом — умом богаче.
Кто бедней умом — лицом богат.

Потому-то я своей дочурке
Не просила расписных красот,
Пусть судьбой своей играет в жмурки.
Таровата будет — так найдет.

В тот момент пресловутая судьба готовила ей самой замечательный сюрприз. В ее жизни появился и, как оказалось, на полвека, молодой (всего двадцать один год), талантливый поэт Сергей Михалков. Спустя десятилетия после их знакомства Тата продолжала вспоминать, какие Сергей Владимирович тогда устраивал розыгрыши. Вот самый знаменитый: набрав в большую бутылку яблочного сока, он зашел с Таточкой в лабораторию и серьезно протянул бутылку в окошечко. «В-озьмите, п-пожалуйста, анализ м-м-очи». «Почему же так много, товарищ?!» — растерянно пролепетала медсестричка. «А это от в-в-сех жильцов н-нашего дома!» — невозмутимо ответил будущий автор гимна.

Отличительной чертой Сергея Владимировича была редкая доброта. Мама, четырехлетняя тогда, это сразу почувство-

вала и к нему потянулась. Сергей Владимирович водил ее по ресторанам, заказывая любимое блюдо «дамы» — котлеты. Если не допивала кисель, деловито говорил прыскающим в кулак официанткам: «З-заверните нам его, п-пожалуйста, в б-бумажку!» Таскал с собой по редакциям. Сотрудники их издалека узнавали: «Вот идут писатель и читатель!» Таточка любила мне рассказывать, как, «защищая интересы» будущего отчима, пятилетняя мама прогнала одного из ее поклонников, известного писателя. Тот — серьезный, в очках, в галошах, в очередной раз пришел на чаепитие. Мама «сердечно» встретила его на пороге словами: «Ты к нам больше не ходи. А то отправишься домой без калош!» Вскоре поставила родительнице ультиматум: «Или выйдешь замуж за Сережу, или за никого!» Через пару месяцев Сергей Владимирович и Наталья Петровна уехали в свадебное путешествие по Средней Азии. У Таты был удивительный дар рассказывать о самых «деликатных» моментах своей жизни просто и весело. О чем-то она писала в книгах, что-то оставляла для «личного пользования», для близких, но в обоих случаях говорила о самом смешном, печальном или трагикомичном, ничего не приукрашивая и не скрывая. Однажды она поведала мне историю той поездки.

Добравшись до места назначения, Сергей Владимирович отправился под палящим южным солнцем обследовать достопримечательности, а Тата решила отдохнуть в номере. Через час вернулся сияющий со свертком под мышкой.

—П-посмотри, что я к-купи! Ручная работа! — Сергей Владимирович гордо развернул перед женой «шедевр» местного коврового искусства и вопросительно к ней обернулся, ожидая похвал. Тата возмущенно всплеснула руками: — Сереженька, что ты притащил!? Это не ковер ручной работы, а сшитая из санаторных ковровых дорожек подделка. Нельзя же быть таким доверчивым. Тебя надули! Верни эту гадость продавшему ее аферисту! Немедленно!

Взамен Тата купила чудесный маленький коврик (он хранится у моей мамы до сих пор, прикрывая, кстати, гигантский потертый сундук Богданова, привезенный им из Америки).

— А Сереженька после взбучки грустит, посадил меня в поезд и помахал рукой, — продолжила Тата рассказ.

— Как?! — не поняла я.

— Вот так, — рассмеялась она, изображая заикание мужа.: «Ты, Н-наташенька, езжай д-дальше, а я, п-пожалуй, чуть п-подзадержусь!»

— И что же ты сделала? — ужаснулась я.

— Обливаясь слезами, поехала из моего свадебного путешествия домой одна и... уже в положении! — улыбаясь, продолжила Таточка. — Но самое сложное началось потом. Я ведь, Ольгушка, была очень вспыльчива, и из-за этого то и дело возникали размолвки. Мы решили с Сереженькой сходить к знаменитому в то время в Москве психологу Квитко. Худой, подтянутый, он встретил нас на пороге со скрипкой в руке — свободное время посвящал музыке. Рассказали о наших неурядицах. Квитко внимательно выслушал и дал мне два бесценных совета. «Наталья Петровна, — сказал



С Катей и Андрюном, 1939

он, оставшись со мной с глаз на глаз в кабинете. — В вашей жизни на первом месте стоит муж, на втором — дети, а на третьем — Вы и ваша работа. С сегодняшнего дня установленный порядок должен измениться. На первое место ставьте себя, на второе — детей, а уж третье оставьте благоверному. А чтобы не гневаться по пустякам, заведите тетрадочку и ставьте себе оценки за поведение. Да-да, как в гимназии. Рассердились на кого-то из домашних или посторонних, вышли из себя — получайте двойку. Сумели сохранить спокойствие — заслужили пятерку».

Тата с мстительным удовольствием выводила себе в течение нескольких дней колы и единицы и вскоре заметила разительные изменения. Эмоции уже не

захлестывали ее — она научилась не замечать ленивого хамства продавщиц в магазинах, недостаток внимания домашних, пропускать мимо ушей неприятные слова. Думаю, что совет знаменитого врача был лишь полделом. Только с Татиной силой воли можно было добиться таких поразительных результатов. За пару месяцев из вспыльчивой, гневливой особы она превратилась, вернее, превратила себя в выдержанную, в совершенстве владеющую собой леди со стальными нервами...

Утром ветер разметал березы,
Нашумел на яблони в саду,
Залетел в окно ко мне с угрозой
Опрокинуть лампу на лету,
В уголке за печкой притулился
И затих...

Если первый брак Таты был основан на «диффузии» и растворении в творческой карьере мужа (увы, несостоявшейся): все время вместе, неразлучно, за руку, то второй на этом принципе строить было немислимо. Сергей Владимирович, несмотря на молодость, был состоявшейся творческой личностью и не нуждался в том, чтобы его подталкивали. Да и сидеть денно и ночью подле супруги, держа ее за руку, не собирался. Желу он любил, но не хотел жертвовать ни своим кругом общения, ни охотой с друзьями, ни творческими командировками. Тогда-то Тата, окончательно расставшись со стереотипом семейной пары родителей, где все было подчинено творчеству Петра Петровича, решила состояться как творческая личность. Помимо стихов занялась переводами. Перевела Бернса. С замирающим серд-

цем отнесла на суд к Маршаку. Тот похвалил. Переводы напечатали. Это было началом. Потом появились многочисленные детские стихи: добрые, поучительные, легко запоминающиеся, либретто к операм, рассказы, книга о деде — В. И. Сурикове, перевод поэмы Мистеалья. Настоящим шедевром стала «Наша древняя столица». Тата писала ее в конце сороковых и начале пятидесятых годов, уже будучи мамой маленького Никиты Сергеевича. Перед началом работы перелопатила такое количество научных трудов и архивов, что стала настоящим экспертом по истории Москвы. Вообще этой одареннейшей женщине была свойственна редкая тщательность в работе. Дочь, внучка и жена знаменитостей, она не давала себе никаких поблажек, зная: то, что простится другой, ей поставят в упрек. В результате стиль у нее выработался безукоризненный — легкий и познавательный.

Говорят, что красота женщины — это наживка, на которую сильный пол клюет, но крючком, с которого не сорваться, является ее ум. Это очень отчетливо прослеживалось в Татиных отношениях с Сергеем Владимировичем. С годами он все больше ее ценил, все чаще советовался. Как-то вернулся грустный с приема в Кремле, где Сталин собирал цвет творческой интеллигенции. Понуно присел на Татину кровать.

— П-представляешь, Иосиф В-Виссарионович сказал: «Т-товарищ Михалков относится к нам к-как к д-детям».

— А что ты ответил? — заинтересованно приподнялась Тата с подушки.

— Н-ничего! Р-растерялся.

— Сереженька, как же ты не догадался ответить Иосифу Виссарионовичу его же фразой: да, конечно, отношусь как к детям, ведь «дети — наше будущее».

Сергей Владимирович с нескрываемым восторгом посмотрел на жену:

— Н-наташенька, ты г-гениальная женщина!

Несмотря на истинное дружество, существовавшее между ними, вкусы и привычки их разнились. Тата в одном письме Сергею Владимировичу написала: «Ты для меня не тот Михалков — депутат, академик, член правительства. Ты для меня — отец моих сыновей, зять моего блистательного отца Петра Петровича, хозяин в моем доме, мой защитник, человек, меня уважающий... Но то, что мне интересно, тебе непонятно. А то, что тебе интересно, для меня чужь... Чем я горжусь, это твоим талантом, который всегда был сильным, самодостаточным».

Ценил талант и уважая «разность» друг друга, отдыхать они предпочитали по отдельности: Сергей Владимирович в мужской компании, Тата с приятельницами. Во время недолгой разлуки обменивались поэтическими телеграммами, вызывавшими восторг у работников соседнего отделения связи.

Наталья Петровна — Сергею Владимировичу:

В Путивле плачет Ярославна

Одна, на городской стене.

Мне ж здесь, в Москве, живется славно.

Вернись, дружок, вернись ко мне!

Сергей Владимирович — Наталье Петровне:

Домой вернусь я непременно,
 К тебе на крыльях прилечу,
 Но за коварную измену,
 Смотри, жестоко отплачу!

Непросто заниматься творчеством, имея троих детей и ведя светский образ жизни. Тате это удавалось. К быту она относилась легко и просто. В крохотной ли комнатке в коммуналке, где они вначале жили с Сергеем Владимировичем, в маленькой ли двухкомнатной квартирке, полученной позднее, или в просторной квартире на Воровского, которую я запомнила, повсюду она создавала удивительно уютную и изысканную обстановку. Возможно, это было одним из проявлений ее мудрости. Один крупный ученый утверждал, что способность индивидуума адаптироваться является неоспоримым доказательством его ума. Может быть (это для тех, кто верит в китайский гороскоп), секрет крылся в умении рожденных, как Тата, в год Кота комфортно обустраиваться. Мама до сих пор вспоминает, как в эвакуации, в далекой Алма-Ате с ней и маленьким Андроном, Таточка в первый же день купила на базаре диван, кровать, пару ковров, отыскала где-то старинный стол, все это умело расставила в выделенных ей двух комнатушках и через пару дней принимала московских знакомых. Растерянные гости разводили руками: «Наташенька, как Вам удалось так замечательно и быстро обжиться? Мы все еще на чемоданах, пьем валидол и не знаем, с чего начать! Вы — кудесница!»

Помимо легкости и «savoir faire» были и помощницы. Хотя Тата, как профессио-

нальный повар, варила варенье, закатывала консервы, пекла черный хлеб и изящные круассаны; не хуже портних шила и вязала, но быстро поняла, что каждодневная домашняя работа — это рутина, неблагодарное занятие, отнимающее массу времени. А его можно и должно использовать на дела более интересные и интеллектуальные. Выбор не барыни, но творческого человека она сделала быстро. Пока Тата сидела за письменным столом, хозяйством занималась Поля, о которой я уже упоминала. Кругленькая деревенская женщина со вздернутым носиком и всегда удивленными глазами. Расторопная, веселая, умелая, она пришла в дом двадцатилетней вместе со своим мужем Павлом. Сильно пьющий Павел с вечно одутловатым лицом ухаживал за садом на Николиной горе, Поля отвечала за готовку и уборку. Она провела в доме сорок лет. В первые годы, не освоив еще все тонкости кулинарного искусства, получала иногда от Таточки нагоняй. Впрочем, «нагоняй» — не то слово. Если Поля «запарывала» какое-нибудь блюдо для званого обеда, Таточка, светски улыбнувшись гостям, вставала из-за стола, шла на кухню и тихо, укоризненно спрашивала помощницу: «Полечка, чем же ты думала?» — «Жопой, Наталья Петровна!» — звонко рапортовала Поля, и гости испуганно вздрагивали. Тата относилась к редкой категории женщин, умеющих дружить. По-настоящему, без интриг, зависти и колких острот за глаза. Помимо несметного количества приятельниц, знакомых и почитательниц были у нее две близкие подруги — пикантная черноглазая Лю-



Наталья Петровна, 1947

ба Дубенская (жена режиссера Зархи) и монтажер с Мосфильма Ева Михайловна Ладыженская. Высокая, худая, с длинным носом, печальными голубыми глазами и короткими вьющимися волосами — дочь еврейского сапожника. Профессионалом она была непревзойденным: работала с Ромом, с Александровым. Я ее помню уже седой, старой, с неизменной сигаретой в иссохшихся пальцах. Тата в молодости тоже курила, но в сорок с небольшим бросила. Произошло это забавно. Однажды (дело было в конце сороковых годов) Ева Михайловна гордо принесла Тате блок «Явы». Замечательный подарок для тех непростых лет. Подымив, они завели разговор о том, легко ли бросить курить.

— Да это просто-напросто невозможно, — авторитетно заявила Ева Михай-

ловна. — Я курю уже двадцать лет и бросить не смогу никогда.

— А я смогу! — азартно сказала Тата.

— Наташенька, привычка — вторая натура. Ты тоже не сможешь, поверь мне.

— Смогу, Евушка.

— Нет, Наташенька!

— Я сказала, что смогу, значит, так и будет. Бросаю курить сегодня, сейчас же. — И в подтверждение своих слов Тата небрежным жестом выкинула блок сигарет в окно.

— Ой! — в отчаянии закричала Ева Михайловна, схватившись за голову. — Ой, какой ужас, их же подберут! — и пулей вылетела из квартиры. Вернувшись запыхавшаяся со спасенным сокровищем, она укоризненно посмотрела на подругу:

— Даже если ты меня очень попросишь, Наташенька, сигареты я тебе не отдам. Я буду курить их сама. А ты завтра очень даже пожалеешь о моей замечательной сухой «Яве».

— Не пожалею, Евушка, потому что никогда больше не буду курить, — сказала Тата и, действительно, больше не курила.

Татины болезни (достаточно тяжелые) никогда не были предметом ее разговоров и жалоб, и оттого никто из внуков о них почти ничего не знал. Много позднее мама мне подробно о них рассказала. Перед войной Тата подхватила стрептококковую ангину, попив минеральной воды на улице из автомата. Ангина дала осложнение на сердце и суставы. Стоило ей пройти сотню метров, как начинали синеть ногти на руках. Постоянно ломило коленные суставы. Болела она терпеливо, ти-

хонько молилась. Мама вспоминает их путешествие (Тата, мама, маленькие Андрон и Никита и его няня Хуанита) в Латвию, летом 1946 года. Остановились в Доме творчества под Ригой, в местечке со звонким названием Дзинтари. Дом творчества власти обустроили в двух старинных особняках. Вокруг раскинулся ухоженный парк с круглыми клумбами. Пятнадцатилетняя мама по нему бродила. С маленькой Никитой сидела няня, молоденькая испанка Хуанита, а Тата от боли и с постели встать не могла: сырой климат спровоцировал обострение ревматизма. В крохотном флигельке жил с семьей старый латыш Ландманис, бывший хозяин усадьбы. Его оставили на хозяйстве чем-то вроде администратора, и он тщательно исполнял свои обязанности. В прозрачно-голубых глазах старика поблескивали игольчатые льдинки ненависти. Зайдя к Тате то ли со свежим бельем, то ли с чайником, Ландманис увидел у нее над кроватью маленький образок Богородицы, который она с собой повсюду возила. Мама навсегда запомнила, как в тот момент изменилось его лицо: льдинки в глазах неожиданно растаяли, старческие морщины от этого стали явственны, и он сочувствующе предложил: «Я вижу, вы болеете. Если Вам что-нибудь понадобится, лекарства или помощь, обращайтесь ко мне».

К пятидесяти годам прибавились большие вены на ногах. Несмотря на это, Тата ежедневно делала изнурительную гимнастику, выхаживала обязательные километры, туго забинтовав ноги элас-

тичными бинтами. Нашла недалеко от Николиной горы умелую массажистку и спасалась массажами. Она была не изнежена, но ухожена. Выглядеть хорошо не стало для нее с годами, как для многих женщин с положением, самоцелью. Стремление максимально долго оставаться в хорошей физической форме объяснялось нежеланием оказаться в тягость окружающим и самой себе. Когда врач в Париже посоветовал сесть на диету, чтобы не утомлять сердце, она немедленно последовала совету, ограничивала себя во всем и, к старости уже, обрела вес своих четырнадцати лет — 74 килограмма. (При ее невероятно тяжелой кости это можно было расценивать как подвиг). Сергей Владимирович, к слову сказать, был против диет и сочинил такие стишки: «Зачем худеть?! Зачем худеть?! Куда тебя, худую, деть?!» Тата долго оставалась пикантной, остроумной, обаятельной, и немало творческих людей ею увлекались. Эти отношения нельзя было назвать ни романами, ни флиртом. Я бы их охарактеризовала как платоническое обожание. Тата становилась предметом поклонения, вдохновительницей, музой. Знаменита история с Павлом Васильевым, посвятившим ей в тридцатые годы несколько замечательных стихотворений. Талантливый, но излишне эмоциональный поэт Тату однажды оскорбил, потом целый день стоял на коленях в подъезде перед дверью — вымаливал прощение. Вымолил, но Тата его с тех пор избегала и в отместку за грубость сочинила ехидные стихи.

Павлу Васильеву

Ты мне прислал живую розу,
Такую красную — как кровь.
Ее шипы, ее занозы
Острее других, простых шипов.

Но аромат меня смущает,
Щекочет ноздри мне до слез.
Пусть Сатана тебя венчает
Венком из этих шальных роз!

В начале пятидесятых годов Тата познакомилась со скульптором Никогасяном, и он загорелся идеей лепить ее бюст. Насколько природа одарила Никогасяна талантом, настолько же обездолила его в плане внешности. Невысокого роста, носатый, волосатый до последней крайности. Приехав как-то жарким летним днем на Николину Гору работать над бюстом, он решил вначале освежиться и отправился купаться на речку. Петр Петрович, выбравшийся из Бугров навестить дочь, в это время прогуливался у берега. Вернувшись домой, он сообщил всем домашним, лукаво улыбаясь: «Представляете, был сейчас возле реки. Смотрю издали, сидит на песке большущий лохматый пес, подошел поближе. Ба, да это же Никогасян на солнышке сушится!» Все, конечно (кроме Таты), над бедным ваятелем смеялись. Никогасян настолько восторженно рассказывал о Тате у себя дома, что вызвал приступы необоснованной ревности у молодой жены (по воспоминаниям Таты, это была эффектная блондинка моложе ее лет на двадцать). Тата не опускалась до объяснений с мнительной дамой, а просто-напросто сочинила стихи:

Ревнивой красавице

Недружелобие тая,
Глазами дивными пытливо
Ты смотришь на меня, а я —
Немолода и некрасива.

Прошла пора моей весны —
С природою свожу я счеты,
И мне уже очки нужны,
Чтоб разглядеть твои красоты.

Но жизнь устроена хитро —
Она мне слово подарила.
И я беру мое перо,
Оно мне — молодость и сила.

В нем — горечь дорогих потерь,
В нем — свет и радость созиданья.
А ну, красавица, теперь,
Вступай со мной в соревнованье!

Тата всегда любила фотографироваться, думаю, в этом проявлялась артистичность ее натуры. В фас и в профиль, в разных нарядах и украшениях — настоящие снимки кинозвезды. Самая моя любимая фотография: она в сорок с небольшим, с высокой прической, маленьким кокетливым локоном у лба, в меховой накидке, в пол-оборота смотрит чуть вверх: прелестные, чуть раскосые глаза, красивый рот, капельку вздернутый нос. Много лет спустя (Таты уже не было) я с гордостью показала эту фотографию, которую всегда носила с собой в бумажнике, старой, всеми почитаемой родственнице моего мужа. Крупная старуха с острым носом и перекошенным из-за застуженного лицевого нерва ртом была известна своей пронизательностью, жестким, мужским каким-то умом, точностью оценок

и неумением врать. Она, не выдавшая Тату при жизни и не читавшая ее книг, потому что жила в Бельгии и не говорила по-русски, на несколько секунд впиалась ястребиным взглядом в фотографию. «N'est-ce pas ma grand-mère était très belle?» (Моя бабушка была красива, не так ли?) — спросила я. Оторвав пронзительный и оттого кажущийся злым взгляд от фотографии, она уставилась на меня в упор и каркаяще отчеканила не терпящим возражений тоном: «Oui, ma chère, mais avant tout c'était une grand dame — ça se voit tout de suite!» (Да, моя дорогая, но, прежде всего, она была гранд-дама, и это видно с первого взгляда!)

По-русски можно сказать проще: Тата была царственна. Не важна, не строга, не высокомерна, а именно царственна. Это сразу же, только войдя в семью, заметил ее зять и мой отец, будущий писатель Юлиан Семенов, а тогда молодой научный сотрудник исторического факультета Московского университета, эрудит Юлик Ляндрес. Поехав на отдых с моей мамой и большим своим другом в ту пору, Андроном Сергеевичем, которого он ласково называл «Андрончик, братик мой», отец написал «царственной» теще шутливое стилизованное письмо:

«Матушка-государыня, Наталья Свет Петровна!

Быют тебе челом из-за моря-окияна рабы твоя Юлька Семенов, Андрейка Сергеев и Катька, пребывая в добром здравии и отменном аппетите. Местечко, в коем нашли мы любезное пристанище, изрядно хорошее, солнечное и водами моря-окияна омываемое. Оста-

новились мы в хижине гостеприимной аборигенши. Слюда в окнах отменно прозрачна, не иначе как из пузырей неведомых заморских рыб сделанная. В первый же день девка Катька, вопреки ударам хлыста мужа ея, пошла на берег днем и там, оставшись в одиночестве, предалась двухчасовому сну, следствием чего является ожог спины. Сын Сергеев ежечасно о пище стонет, на дев глазами пялит и плавает со мной не далее как в пяти метрах от берега, опасаясь неведомых рыб, а также подводных лодок, кои перескопы свои, ако иглы из пучин морских выставляют.

Матушка-государыня, припадаю к стопам твоим, моля Бога нашего доброго тебе здравия, счастья и прочаго и прочаго. Остаюсь твой покорный слуга и раб
Юлька.

P. S.

Шлю поцелуи своя пресветлому отцу и заступнику нашему Сергею Свет Владимировичу, если он еще на своем линкоре не отправился бороздить пучины в сопровождении славных своих опричников молодцев, и наследному сыну Никитке-бандуристу, коему мы отменный подарок привезем, если поведение его и музыкальные упражнения похвалы заслуживать будут».

Далее следует приписка мамы в том же духе:

«Матушка-государыня, письмо свое с дядьями-ягерями пришло, поскольку сейчас в сем плачевном положении нахожусь».

Послание завершал мамин рисунок — ее, обгоревшей, автопортрет.



С книгой «Дар бесценный», 1970-е гг.

Чем известнее становилась Тата, тем чаще ее приглашали на выступления в школы, институты, военные части. Выступать она любила, выступала прекрасно. Это были не творческие вечера, а настоящие спектакли. Она рассказывала о Сурикове, Эдит Пиаф, Жорже Брассенсе, Жюльетт Греко. Независимо от темы, увлекательное повествование захватывало зрителей полностью. На фотографиях тех лет Тата то в толпе школьников с довольными мордашками, то с улыбающимися сотрудницами какого-то учреждения, то в окружении дородных военных, смотрящих на нее с откровенным мальчишеским восторгом. Она закигала, заряжала публику: темперамент у нее был сумасшедший. А еще был, столь свойственный всем талантливым людям, страх не успеть. Она не давала себе отды-

ха, и с возрастом темп ее жизни не замедлялся, а вопреки всем законам природы убыстрялся.

Из письма Н. П. Кончаловской к Римме Казаковой. 1968 год:

«Я начала писать только в тридцать лет, и поэтому к шестидесяти пяти годам у меня сделано мало. И сейчас, когда дом полон невесток, внуков, дивное дело, надо ехать в Рязань и выступать перед огромными аудиториями студентов, жаждающих стихов Брассенса и певцов Франции. Там благодарны тебе, и это — праздник».

Злые языки утверждали, что за спиной могущественного мужа Наталья Петровна ничего не знала о реальной жизни: существовала как в аквариуме. Это неправда. Она объездила со своими спектаклями полстраны, вдумчиво беседовала с людьми, все примечая и запоминая. Лишь однажды она о нашей советской аскетической действительности забыла. Эта смешная история произошла на Новый год. В течение долгих лет он встречался всей семьей на Николиной Горе. Вокруг раздвинутого стола из карельской березы рассаживалось семейство, друзья, и веселье продолжалось до рассвета. Однажды Таточка решила сделать сюрприз и тайком заказала в соседней деревне тройку, запряженную в большие сани. Когда на темном заснеженном дворе весело зазвенели бубенцы, Сергей Владимирович настороженно спросил:

— Н-наташенька, это что т-там т-такое?

— Тройка приехала, будем кататься, — весело ответила Тата.



С дочерью, Николина Гора. 1958

Испуганный Михалков широко раскрыл глаза и даже больше стал заикаться:

— К-какая т-тройка!? Я же ч-член п-партии! Т-ты п-представляешь, что в «П-правде» напечатают?!

Поспешно выйдя к колхозникам, он щедро с ними расплатился и отправил довольных восвояси...

Начиная с середины семидесятых годов Тата почти безвылазно жила на Николиной Горе. Сергей Владимирович приезжал лишь на выходные, всю неделю, как ярый урбанист, проводя в Москве, благо о нем заботилась старенькая уже Поля. Чувствовала ли Тата одиночество? Конечно. Однажды даже написала мужу горькое письмо. К адресату оно не попало. В последний момент Тата оставила его в своих бумагах. Она отчетливо поняла, что никакое письмо ничего изменить не сможет. Они, столь тесно связанные, понимающие друг друга с полуслова, любящие друг друга десятки лет, обречены проводить врозь больше времени, чем вместе. Замечательно

объяснила это она в письме к моему отцу:

«Я — человек счастливый... Однажды ты был с Катей на моем дне рождения, когда Сергея не было, а были Ливановы, Ефимовы, Гончаров с женой, Павел Марков. Помнишь, как Женья Ливанова сказала мне: “Как ты могла упустить Сережу? Ведь он как писатель пропадает, идет к администрированию, к почету, орденам, а искусство его остается позади. Как ты это допускаешь?” И тогда я разразилась речью о том, что не имею права ни в чем упрекнуть моего Сергея, потому что он мне создал такие условия, когда я могу писать, что хочу, жить, как хочу, ездить, куда хочу, и за его широкой спиной я выросла в писателя той категории, которому не приходится вымарывать из своих сочинений ни одного слова! Это же счастье, и поэтому я пью за здоровье человека, за чьей спиной выросли и я, и наши сыновья! И тогда Андрей Гончаров разразился тирадой такого восхищения моим отношением к Сергею и говорил такие страстные слова, что его жена просто плакала от волнения и радости. Я и сейчас все время не устаю внутренне благодарить Сережу за его доброту и самоотверженность в отношении нас троих. Хожу по Николиной и целую каждую сосну, приговаривая: “Спасибо тебе, Сереженька, ангел мой! Тебя хоть со мной никогда нет, да только каждую минуту я чувствую твое присутствие во всем. В комфорте, в заботе, в холодильнике, в теплой воде моей ванны, в розах, цветущих перед окнами. А тебя нет со мной, не можешь ты быть рядом, пото-

му что в крови у тебя иной резус, чем у меня! И ничего с этим не поделаешь...»» Татиной гордостью и радостью были ее сыновья, ее «мальчики». В письме к подруге она признавалась: «Я вкладывала в них обоих огромные свои запасы. Лучшие мои произведения — Андрон и Никита». Их успехи и неудачи воспринимались ею как личные. Злобные нападки завистников приводили в отчаяние. Страшнее всего для Таты были сыновьи творческие размолвки. Памятуя об этом, они старались их от «мамочки» скрывать. Каждое утро выходили бок о бок из старого дома, отданного им родителями и стоявшего напротив Татиного, построенного позднее, и дружно направлялись к воротам — на обязательную пробежку. Таточка печально стояла возле окна на кухне и грустно мне говорила: «Андрончик и Никиточек думают, что я ничего не вижу, а я все-все вижу. Сейчас, за воротами, мальчики разойдутся. Один побежит налево, другой направо. Господи, поскорей бы они помирились!»

Таточке не удалось сделать пианиста ни из моего деда, ни из сыновей. Оставалась последняя, слабая надежда — я. Возможно, она делала ставку на генетическое чудо: «Вдруг у Ольгушки выявятся техника Алексея и бескомплектность Юлика? Ей надо немедленно начинать заниматься музыкой!» Сказано — сделано. Тата решила подарить мне к семилетию пианино и взялась лично его выбрать. В тот день мы с мамой зашли за ней на Воровского, куда она на пару дней заехала. Присели «на дорожку» втроем в холле. Вдруг в Татиной комнате раздался грохот. Сорвалась с гвоздя и



С Андроном и Никитой, 1970

рухнула на кровать, на которой отдыхал Сергей Владимирович, картина Кончаловского «Поезд» (маленький поезд, весело мчащийся по рельсам среди зеленых лугов и цветущих яблонь). К счастью, Сергей Владимирович не пострадал и моментально сохмылил: «Я п-попал п-под п-поезд!»

Тата долго, тщательно выбирала инструмент в музыкальном магазине. Мягко брала аккорды красивыми руками, склоняла голову, сравнивая звук, наконец указала тросточкой на коричневое пианино: «Вот это и возьмем». Сердце у меня радостно забило: «Я буду играть!» В течение двух последующих недель, сразу после того, как натужно кряхтящие грузчики затащили пианино в столовую, а старенький настройщик его настроил, я просыпалась счастливой. Ощущение праздника наполняло сразу же, как только открывала глаза. Нужно было несколько секунд, чтобы вспомнить почему. В сознании ярко, как солнечный лучик, вспыхивала

мысль: «Конечно! Пианино! У меня же теперь есть пианино!» И я бежала к нему и трогала желтоватые клавиши, и мечтала, что скоро, очень скоро начну играть. Совсем как Тата!

Мой учитель, сын старенькой «коммерсантки» Софьи Михайловны, время от времени приносившей маме заморские наряды, появился пасмурным днем: маленький, толстенький, пахнущий сладкой микстурой, кашляющий глубоким мокротным кашлем. Наиграл «Ах, вы сени, мои сени». Я повторила одним пальцем. Он закашлялся. В соседней комнате Софья Михайловна горячо говорила маме: «Мишенька — очень способный педагог. Вот увидите, как Оленька заиграет». Пристроив сына, Софья Михайловна испарилась. Он приходил два раза в неделю, играл «Сени», всегда только «Сени», кашлял. Через месяц я расплакалась. «Мася, я больше не хочу заниматься!» Мама сочувственно вздохнула: «Как хочешь, маленькая». Позднее выяснилось, что «Мишенька» никогда не был учителем музыки и почти не умел играть. Он работал официантом. Других преподавателей мама не искала. Расстроенное пианино печально молчало в углу столовой. Жалобно дребезжало, когда папа с друзьями наигрывал песенки своей «салаговой» молодости. Через два года оно незаметно, как обиженный хозяевами хорошо воспитанный гость, исчезло. Больше Тата из внуков пианистов делать не пыталась...

В день Петров, пропахший свежим сеном,
Я с утра на луг пойду бродить,
Где цветы да травы по колено,
Где еще не начали косить.

Мне оттянет руку до плеча
Белый сноп смеющихся ромашек,
На которых — желтая печать
С массой черных, маленьких букашек.

По меже пройду ногой неловкой,
Там в овсах мечтают васильки,
Как свежи, как сини их головки,
Как прямы, как сухи стебельки.

Мой букет огромный, желто-белый
Подсиню цветами васильков.
Как снят на речке обмелелой
Наши бабы желтое бельё.

Клевер красный, пчелами воспетый
Мой букет согреет, оживит,
Колокольчик нужен для букета.
Он лиловым звоном прозвенит.

В день Петров украшу стол широкий
Я последней пестротой полей.
Из села проселочной дорогой
Уж пошла ватага косарей.

Те школьные каникулы я, как обычно, проводила между папиной дачей в поселке писателей на Пахре и Татиным домом на Николиной. В доме, как всегда летом, толпились внуки, друзья, друзья детей, дети друзей. Появлялись знаменитости: Марчелло Мастрояни, старенький уже, спортивный Роберт Де Ниро, с которым Никита Сергеевич азартно играл в футбол на лужайке перед домом. Тата всех любезно принимала, поила кофе, говорила об искусстве. Для именитых гостей выносила большую скатерть и просила написать что-нибудь на память. Потом вышивала эти забавные надписи разноцветными нитками. В прихожей предупредительно прикрепила кнопочками к двери чет-



В лесу на Николиной Горе, лето, 1962

веростишие: «Когда бывает в доме людно, // Мне мыть полы ужасно трудно.// Чтоб дом не превращать в сарай, // О щетку ноги вытирай!» Иногда, чтобы отдохнуть от столпотворения, уходила погулять в лес и брала меня с собой. В тот день мы вышли довольно рано. Маленькая тропинка, начинавшаяся за калиткой, вывела на небольшую асфальтовую дорогу с бересклетом по обочинам. Мы прошли мимо дач Минцера и академика Энгельгардта, мимоobeliska в честь погибших в тех местах в Великую Отечественную солдат, сделанного никологорскими детьми по Татиной задумке, и углубились в сосновый бор. Опираясь на палочку, Тата, не спеша, любовно как-то ступала по песчаной лесной дороге. Мы достаточно быстро для ее семидесяти пяти лет отошли ки-

лометра на два и оказались в смешанном лесу. Меня в то время интересовала живность. Я зачитывалась книжками Даррелла, три раза в неделю бегала в Клуб юных натуралистов Московского зоопарка, дежурила возле клеток с животными и писала, одиннадцатилетняя, «научный» труд об иерархии дымчатых мангобеев в неволе. Зная, чем меня увлечь, Тата рассказывала про соболей в питомниках, которые, непонятно как, чувствуя приближающуюся «казнь», выгрызали себе на спинках мех. Экзекуцию откладывали на несколько недель, но, как только мех отрастал, зверьки снова себя уродовали. Меня эта история поразила. Несколько минут мы шли молча, а потом Тата негромко прочла свои стихи, посвященные мужественным зверюшкам.



Николина Гора, 1965

Неожиданно дорогу преградила почти лежащая на земле тоненькая березка, согнутая упавшим деревом. «Бедненькая!» — сочувственно вскрикнула Таточка и бросилась ее высвободить. Я, как могла, помогала. Березка сначала было выпрямилась, но потом снова грустно согнулась. Мы вернулись на следующий день с крепкой веревкой, подвязали ее и потом несколько лет рядом навешали. «Как там, интересно, наша березка? — мечтательно улыбаясь, спрашивала Таточка ближе к весне. — Надо нам будет ее проведать». И в первый же летний день мы отправлялись к «спасенной». С каждым годом шли все медленнее. Тата все сильнее опиралась на палочку, все неувереннее ступала своими старенькими тупоносими французскими туфельками с низким сто-

птаным каблукком по неровной лесной дороге. очередной весной, произнеся привычные слова: «Как там, интересно, наша березка?» — вдруг печально закончила: «Мне, пожалуй, до нее уже не дойти».

Старая, Тата мало менялась. Снисходительная к окружающим, требовательная к себе, она продолжала работать. Подгоняла себя, не давала спуску, не обращала внимания на хвори. Все недомогания объясняла магнитными бурями. По вечерам деловито доставала из шкафчика карельской березы батарею лекарств и задумчиво говорила: «Что бы мне сегодня принять, чтобы завтра проснуться?» Обычно выбор останавливался на паре-тройке таблеток от давления, сердцебиения и головокружения. Ранним утром спешила к письменному столу. Свою последнюю книгу, про kota-путешественника, решившего облазить все крыши мира, восьмидесятипятилетняя Таточка дописать не успела. Заболевшую, ее увезли в «кремлевку» в сентябре 1988 года. Она лежала в просторной палате. В большие окна грустно заглядывали желтеющие деревья. Тата попросила меня принести пилочку для ногтей: хотела привести руки в порядок (до последней минуты оставалась истинной женщиной). Придя на следующий день с маникюрным набором, я устроилась на краешке кровати. Тата с довольным видом положила набор в тумбочку, помолчала, смотря куда-то вдаль, за желтые деревья на фоне светло-голубого осеннего неба, а потом вдруг тихо сказала: «Ольгушка, если у тебя будет возможность уехать, уезжай». Я не поверила своим ушам.



Николина Гора, 1985

Таточка, страстно любившая Россию, тосковавшая по никологорским далям даже в обожаном ею Париже, благословляла меня на какой-то, еще гипотетический отъезд, будто заранее прощая. Разглядела ли она мою рыхлую инфантильность и глуповатую мечтательность и поняла, что российская жизнь не для меня, или каким-то загадочным образом приоткрылась ей завеса будущего? Не знаю. Но слова Таточки оказались пророческими: спустя несколько лет я оказалась за границей.

Через две недели Таты не стало. Маме, пришедшей незадолго до кончины, она серьезно, отрешенно сказала: «Я — не ваша»...

Пустота, образовавшаяся после ее ухода, была не заполнима. Тоска пронзительна. Все дети, внуки и друзья, не-

зависимо от возраста, чувствовали себя заблудившимися в сумрачном лесу малышами. Плакали старые люди, убивалась Ева Ладыжнская: «Почему Наташенька ушла?! Я должна была уйти раньше: я на три года старше, почему Наташенька!?» Тата относилась к породе людей, по которым с годами скучаешь все больше, вспоминаешь все чаще, и сердце каждый раз сжимается со свежей, щемящей болью. У Сент-Экзюпери есть грустный рассказ, где он, заблудившийся, без горячего, в своем маленьком самолетике над темным бескрайним морем, всю ночь держит курс на звезду, приняв ее за прибрежный маяк. Чем дальше, тем больше я сравниваю Тату с далеким, но очень ярким маячком. (Или с далекой, яркой звездой? Это, пожалуй, одно и то же, ибо в

Часть I

обоих случаях присутствует фактор равенства на недостижимость.) В сложных ситуациях, когда непонятно ни что делать, ни что говорить, произвольно возникает вопрос: «А как бы себя повела Тата? Что бы она сказала?» И пусть не всегда (образец слишком совершенен), но правильное решение приходит. Много лет назад, когда первая осень без Таты сменилась долгой холодной зимой, я посвятила ей стихи. Ими и закончу мой рассказ об этой удивительной женщине, умевшей всегда оставаться самой собой — искренней, вдумчивой, терпеливой, честной, одним словом, настоящей.

Ты ушла.
И телефон молчит,
Даже если в доме людно.

Ты ушла.
И кто-то говорит,
Что оттуда
Возвращаться трудно.
Ты ушла туда,
Где ясный свет,
Ты ушла туда,
Где вечно лето,
Шум деревьев
И густой рассвет.
Я не знаю,
Правильно ли это,
Что ушла.
И, горечь затая,
Все звоню к тебе,
Ища совета,
Все плутаю
В снегопадах января
С двухкопеечною стертою монетой.

Содержание

Предисловие	5
Часть I. ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ?	7
<i>О. Ю. Семенова. Таточка</i>	9
<i>А. А. Овчинников. «В память неизвестной героини...»</i>	45
<i>Е. С. Юрова. «Полпред» девятнадцатого века</i>	71
<i>А. А. Хвалебникова. Это милое, милое Узкое...</i>	92
<i>Н. Г. Жиркевич-Подлесских. «Солнышко души моей...»</i>	117
<i>А. В. Уханов. «Крепка твоя вера, Анна!»</i>	159
<i>С. Р. Адамян. Моя незаменимая Балик</i>	184
<i>Н. С. Рытова. «Одна надежда мне светила...»</i>	190
<i>Е. Е. Утенкова-Тихонова. Чем измеряется любовь?</i>	224
<i>Е. В. Лаврентьева. Мало учености — много эротики</i>	236
Часть II. «ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ БАБУШКИ...» (по страницам опубликованных мемуаров)	247
<i>Е. П. Янькова. Рассказы бабушки</i>	249
<i>С. Н. Глинка. Записки</i>	253
<i>Ф. В. Булгарин. Воспоминания</i>	255
<i>А. П. Керн. Воспоминания. Дневники. Переписка</i>	259
<i>А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания</i>	260
<i>В. А. Соллогуб. Воспоминания графа</i>	265
<i>М. Г. Назимова. Бабушка Разумовская</i>	269

Содержание

<i>Е. А. Сушкова. Записки</i>	278
<i>Е. И. Менгден. Из дневника внучки</i>	281
<i>Е. А. Сабанеева. Воспоминания о былом. Из семейной хроники</i>	284
<i>Я. П. Полонский. Дом-антик</i>	290
<i>А. В. Эвальд. Воспоминания о бабушке</i>	297
<i>Д. В. Григорович. Литературные воспоминания</i>	304
<i>П. И. Мельников (Андрей Печерский). Бабушкины рассказы</i>	308
<i>Л. П. Шелгунова. Воспоминания</i>	312
<i>Л. Н. Толстой. Мыльные пузыри</i>	317
<i>С. Ю. Витте. Избранные воспоминания</i>	319
<i>Л. Ф. Достоевская. Моя бабушка Мария-Анна</i>	321
<i>С. М. Волконский. «Тончайший дым воспоминаний»</i>	325
<i>К. А. Коровин. Мыс Доброй Надежды</i>	329
<i>М. В. Волошина. История одной жизни</i>	330
<i>Т. П. Карсавина. Театральная улица</i>	333
<i>С. В. Гиацинтова. С памятью наедине</i>	335
<i>В. Л. Андреева. Эхо прошедшего</i>	341

Мемуары

Бабушка, Grand-mère, Grandmother...

Воспоминания внуков и внучек о бабушках,
знаменитых и не очень,
с винтажными фотографиями XIX—XX веков.

Составитель ЛАВРЕНТЬЕВА Елена Владимировна

Редактор *Н. В. Куприянова*
Художественное оформление: *А. Б. Архутик*
Компьютерная верстка: *М. Ю. Железнова*
Технолог *Т. Ю. Симонова*
Корректоры *Г. Н. Барышева, О. В. Круподер*

Подписано в печать 09.11.2011 г.
Формат 70×90/16. Гарнитура «BodoniС».
Печ. л. 22,0. Доп. тираж 2000 экз. Заказ №

ООО «Издательство «Этерна»
115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а
Тел./факс 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru
www.eterna-izdat.ru

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛАВРЕНТЬЕВА — автор книг и статей, посвященных культуре XIX века. Круг ее интересов широк. Она читает лекции, собирает старинные предметы, вышедшие из обихода, записывает воспоминания старых москвичей. В ее книгах представлены свидетельства как знаменитостей, так и простых очевидцев ушедшей эпохи.

Книги Е. В. Лаврентьевой:

- Культура застолья пушкинской поры;
- Светский этикет пушкинской поры;
- Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры: Этикет;
- Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры: Приметы и суеверия;
- Семейный альбом: Фотографии и письма 100 лет назад;
- Любовный лексикон XIX века;
- «Хорошо было жить на даче...»: Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и воспоминаниях.